**ГНЕЗДО**

Дед стоял за печь горой. «Не позволю!» – стучал он кулаком по столу и грозил длинным крючковатым пальцем. Отец хмурился, тер виски, но против деда не шел. Мать не вникала.

Печь занимала треть кухни – белая, теплая и мягко-шершавая – будто намелованная. Гости шарахались от нее, боясь за пиджаки и свитера. Дед смеялся над ними и хлопал по теплым бокам, демонстрируя чистые ладони.

На печь можно было забраться – по узенькой лесенке сбоку – и устроиться под самым потолком на цветастом одеяле, в горячем и сухом «гнезде». Так говорил отец. Из гнезда можно было наблюдать за происходящим на кухне – например, за тем, как кот пытается стащить со сковороды отбивную, а мать гоняет его полотенцем, или за тем, как спорят затемно отец и дядя, поглощая в жутких количествах терпкий черный чай. Дядя шевелил усами, горячился и яростно жестикулировал, а отец откидывался на стуле, складывал руки на груди и посмеивался. В гнезде можно было дремать, укутавшись, можно было прятаться ото всех, вжавшись в стену и затаив дыхание, можно было листать истрепанную, пыльную книгу.

А дед в гнезде слушал радио.

Зайдет на кухню; под мышкой личное сокровище – древний увесистый радиоприемник под дерево, с вытягивающейся вверх антенной и отломанным регулятором громкости. Повертит головой, покряхтит, вытянет из хлебницы пару сухарей. Потом вздохнет – и давай карабкаться по лесенке. Охая, ахая, хрустя суставами, устроится в гнезде, завернется в одеяло, поскребет бороду, щелкнет приемником и прижимает его к уху – иначе не услышать ничего. Чинить не дает, боится. «У вас, – говорит, – руки кривые. Вам такой тонкий инструмент доверять нельзя».

– Выкинь ты свой тонкий инструмент, батя, – смеется отец, – рухлядь же. Мы тебе новый купим, японский.

– В голове у тебя рухлядь, – отвечает дед, – а радио не трожь. В японском души нет, а сей мне прилюбился уже.

Отец все смеется, не спорит.

По негласным правилам деду касательно гнезда предоставлялось безусловное преимущество. Если он заставал на печи нас с братом, то шикал, делал страшное лицо – и мы исчезали.

Радио дед мог слушать ночами напролет. Покрутит ручку, найдет волну, прижмется к коробке – и замирает. Тогда кругом него хоть земля трясись, ничего не видит. Дядя зайдет, поздоровается, а дед не отвечает –
весь *там*. Ночь на дворе, свет погасят, тихо; только и звуков что кот ворочается в углу, в печи что-то потрескивает да дед сопит из-под потолка. А то возьмет да и захрапит – раскатисто, с переливами. Отец тогда выходит из комнат, расталкивает старика, уговаривает перебраться в постель. Дед спросонья ворчит, но соглашается – сползает по лесенке, ковыляет к себе.

Однажды зимой, ближе к вечеру, спрятался я в гнездо. Выжидаю. Зашла мать, помыла посуду. Постояла у окна. За окном яблоня, за яблоней сарай, за сараем забор, а там небо в облаках. Солнце заходит уже, выглядывает из-за забора, разливается огнем. Все белым-бело, на сарае снежная папаха. Облака ну прямо горят. Хорошо. Мать постояла – постояла, да и ушла.

За окном пробежал с соседскими мальчишками брат. Летят снежки, слышен хохот. Я жду.

Появился кот. Прошагал деловито до обеденного стола, запрыгнул, обнюхал. Перебрался на подоконник, уселся носом к стеклу –
наблюдает.

В печке трещит тихонько. Солнце – за забором уже, а облака все горят. Жду.

 Зашел отец, выпил воды, сел у окна. Потрепал кота по спине, пробормотал что-то задумчиво. Уходя, подмигнул мне. Конспирация провалилась. Но это отец, от него не спрячешься.

Жду деда. Над забором небо еще пылает, но выше – густая синь. Яблоня гладит голыми ветвями крышу сарая, на папахе остаются борозды. Кот сидит неподвижно, наблюдает за редкими снежинками, которые ползут сверху вниз. Я наблюдаю за котом. Наблюдаю, наблюдаю да и засыпаю, размякший от тепла и тишины.

Просыпаюсь от голосов.

– Не позволю! – скрипит дед и стучит кулаком.

Он сидит на табуретке и вертит в руках приемник. Горит лампа, за окном темно. Напротив деда сидит отец, пьет чай. От чая вьются ниточки пара, отец дует на кружку, цедит понемногу.

– Батя, – басит он, – ну на что она тебе?

– Не позволю, – бубнит из-за бороды дед. – Вот помру – хоть весь дом разбирайте.

– Так ведь и соседи уже смеются, ни у кого такой нет.

– Пущай смеются.

– Что ж ты так уперся-то?

– Захотел и уперся. Твой дед эту печь ставил, душу вкладывал. Погляди, как мальцам она по душе, – тычет пальцем на меня. Я юркаю обратно.

Отец вздыхает.

– Чудак ты, батя, стал, – говорит, – совсем чудак.

Дед не отвечает, вертит приемник. Потом зевает, встает и шаркает к печи.

– Слезай, шалупонь.

Я тру глаза и соскальзываю вниз. За мной увязывается кот, пытается прошмыгнуть в комнаты. На пороге оборачиваюсь и вижу, как дед жмется ухом к приемнику. Его лысая макушка, голая и ровная как шар, блестит в свете лампы.

Кот воспользовался моим замешательством и просочился-таки вглубь дома.

Той ночью меня разбудил грохот – дед, слезая с печи, оступился и упал с лесенки. Сломал руку. Пока отец собирался и грел машину, дед сидел на кровати и тихо постанывал. Мать кружилась вокруг него, поднося вещи, воду, помогая влезть в куртку.

Вошел в комнату отец – в верхней одежде, не разувшись.

– Марш спать, – приказал он нам с братом.

Взял деда под локоть и повел в коридор.

Когда они уехали, мать зашла к нам и сказала:

– Я к соседке. Ненадолго. Спите или со мной пойдете?

Мы к соседке не хотели

– Ты за старшего, – сообщила мать брату и ушла.

Воцарилась тишина. В комнате деда горела лампа, и у нас, с открытой дверью, было совсем светло. Я не мог спать. Ворочался, мял подушку, а потом тихонько встал.

– Ты куда? – спросил сквозь сон брат.

– В кухню, – и я зашлепал босыми ногами по полу.

Из-за окна лилось сквозь занавески холодное белое сияние, но в кухне все равно было темно. Я зажег абажур и уселся за стол. В печи тихонько трещало. На подоконнике, свернувшись калачиком, дремал кот. В углу, под табуретом, лежал одиноко приемник с погнутой антенной.

Я нагнулся, поднял. Повертел, приложил к уху – там неразборчиво шипело. Погасил абажур, сунул приемник под мышку и полез на печь.

В гнезде было по-обычному жарко и сухо. Я вжался в угол и поднес приемник к лицу. Его пересекала белая полоса с цифрами и черточками. По полосе, если крутить ручку, полз маячок. Я принялся двигать его вправо-влево, то и дело прислушиваясь. Звук был ужасно тихим –
ничего не разобрать. Наконец маячок добрался до какой-то заветной черточки – и до моего слуха донеслась более-менее отчетливо музыка. Я приник к гладкому пластиковому боку. Пели про пальмы, море и закат. Кухня плыла серебряными бликами, мерцала таинственно. Меня здорово разморило, я подтянул к подбородку одеяло и укутался в него.

После песни про пальмы диктор со смешной фамилией принялся монотонным голосом читать историю про какого-то мальчика, которого везли через степь в город. Мальчик сперва ехать не хотел и плакал, а потом только скучал и бродил по округе на привалах, а вокруг него суетились какие-то люди – приятные и не очень.

В глубине печи потрескивало, где-то в противоположном углу кухни завел свою песню сверчок.

А мальчик все ехал и ехал в своей телеге. День сменял ночь, вокруг кричали птицы, лаяли собаки, разговаривали, считая деньги, люди. Я сперва слушал внимательно, потом куда-то поплыл, – и не заметил, как уснул. Снилось мне, что я еду через степь и рядом со мной сидит дед. Он то и дело поворачивается, улыбается из-за бороды и показывает торжествующе ладони – то ли чтобы продемонстрировать их чистоту, то ли чтобы сказать, что с рукой у него все в порядке. Степь застелена ровным слоем шуршащей травы, вдалеке темнеют на фоне неба холмы. С неба тянется редкий снежок, тает, не касаясь земли.

Наутро отец привел домой рабочих – и они в два дня разобрали печь. Нам с братом до слез было жаль теплого гнезда – и мы плакали, сидя у деда на кровати. Дед здоровой рукой гладил нас по головам и бормотал что-то ободряющее.